

Лекция 2. Война и власть

14 января 1976 г. Война и власть. —
Философия и границы власти. — Право
и королевская власть. — Закон,
господство и подчинение. — Аналитика
власти: вопросы метода. — Теория
суверенитета. — Дисциплинарная
власть. — Правило и норма

В этот год я хотел бы начать, но только начать, комплекс исследований о войне как возможном принципе анализа властных отношений: действительно ли в области явлений, связанных с войной, в военной модели, в области борьбы или разных форм борьбы можно найти принцип осмысления и анализа политической власти, которая таким образом могла бы быть расшифрована в терминах войны, борьбы, столкновения? Поэтому я хотел бы в силу необходимости начать с анализа института войны: как он реально и действенно функционирует в истории наших обществ начиная с XVII века и до наших дней. Вплоть до настоящего времени в течение пяти последних лет мы в целом рассматривали различные формы дисциплины; в последующие пять лет предполагается рассмотреть войну, борьбу, армию. Я хотел бы теперь подвести итог тому, о чем пытался говорить в курсах предыдущих лет, это мне позволит выиграть время для моих исследований о войне, которые не очень продвинулись, и, возможно, это будет полезно для тех, кто не прослушал моих курсов предыдущих лет. Во всяком случае, мне и самому хотелось бы подвести итог исследований предыдущих лет.

С 1970 по 1971 г. я пытался рассматривать власть с точки зрения того, «как» она осуществляется. Это «как» подталкивает к изучению механизмов власти с двух сторон: во-первых, с точки зрения их связи с правом, которое формально ограничивает власть, и, во-вторых, с точки зрения истины, которой эта власть вооружена и которая в свою очередь ее поддерживает. Итак, существует треугольник: власть, право, истина. Вкратце скажем следующее: существует, я думаю, традиционный вопрос политической философии, который формулируется так: как дискурс об истине или, проще, как философия, понимаемая

преимущественно как дискурс об истине, может обозначить правовые границы власти? Это традиционный вопрос. Однако тот вопрос, который бы я хотел поставить, лежит глубже, он тесно связан с фактами в отличие от традиционного благородного философского вопроса. Меня занимает такая проблема: каковы те правила, которые власть на законном основании приводит в действие, чтобы произвести дискурс об истине? Или иначе: власть какого типа способна производить дискурс об истине, который в обществе, подобном нашему, имеет столь глубокие последствия?

Я хочу сказать, что в обществе, подобном нашему, — а в конечном счете в любом обществе — многочисленные властные отношения проникают в общественный организм, характеризуют его и конституируют; они не могут ни распаться, ни установиться, ни функционировать без производства, накопления, обращения, функционирования подходящего дискурса. Нет власти без рационального использования дискурса об истине, который проявляется во власти, исходит от власти и действует посредством нее. Под влиянием власти мы обречены на производство истины и можем использовать власть только с помощью производства истины. Это верно для всякого общества, но я думаю, что в нашем обществе отношения между властью, правом и истиной выстраиваются очень своеобразно.

Для того чтобы просто выразить даже не механизм отношений между властью, правом и истиной, а интенсивность и постоянство их взаимосвязей, скажем следующее: мы вынуждены вырабатывать истину с помощью власти, она требует истины и в своем функционировании нуждается в ней; мы должны говорить истину, мы вынуждены, мы осуждены признать истину или найти ее. Власть не перестает вопрошать, опрашивать нас; она не перестает расследовать, регистрировать; она институционализирует исследование истины, она его профессионализирует, вознаграждает. Мы должны производить истину так, как в конечном счете должны производить богатства, и мы должны производить истину, чтобы производить богатства. И в то же время мы также подчинены истине в том смысле, что она творит закон; с помощью истинного дискурса, по крайней мере частично, принимается решение; он несет с собой действие власти, подталкивает ее к нему. В итоге нас судят, осуждают, классифицируют, принуждают к выполнению задач, обрекают на определенный тип жизни и смерти под влиянием истинных дискурсов, которые ведут к специфическим воздействиям власти. Таким образом, мы имеем принципы права, механизмы власти и власть истинных дискурсов. Или еще: принципы власти и власть истинных дискурсов. Это почти вся намеченная мною область исследования, которое я, как мне известно, осуществил частично и с большими отклонениями. Я хотел бы теперь сказать несколько слов об этом исследовании. А именно о том, каким общим принципом я руководствовался, каковы были мои императивные тезисы или методологические правила? Мне казалось, что, говоря об общем принципе взаимоотношений права и власти, нельзя забывать, что в западных обществах начиная со средневековья юридическая мысль разрабатывалась в основном вблизи королевской власти. Именно по требованию королевской власти, в ее пользу, в целях создания ее орудия или ее обоснования разрабатывалось юридическое здание наших обществ. На Западе право — это форма королевского управления. Должно быть, весь мир знает невероятную, прославленную роль юристов в организации королевской власти, этот факт всеми затвержен и многократно пережеван. Не нужно забывать, что возрождение римского права к середине средневековья было значительным событием, в связи с которым и исходя из которого перестроилась

распавшаяся после падения Римской империи юридическая система, оно явилось одним из технических инструментов установления авторитарной, административной и в конечном счете абсолютной монархической власти. Таким образом, юридическая система формировалась вблизи королевской особы, по требованию королевской власти и ради ее пользы. Когда в последующие века юридическая система начала ускользать из-под королевского контроля, когда она обернулась против королевской власти, тогда постоянно стал возникать вопрос о границах этой власти, о ее прерогативах. Иначе говоря, я думаю, что центральной фигурой во всей западной юридической системе является король. Именно о короле, о его правах, о его власти, о потенциальных границах его власти идет речь в западной юридической системе, во всяком случае, это явно проступает в общей ее организации. Служили ли юристы королю или были его противниками, в любом случае всегда в серьезных юридических построениях обсуждался вопрос о королевской власти. Он рассматривался двояко: либо речь шла о том, чтобы показать, на какую юридическую основу опиралась королевская власть, как монарх поистине стал живым воплощением суверенитета, каким образом его власть, даже абсолютная, оказывалась точь в точь адекватна основному праву; либо, напротив, речь шла о том, как нужно ограничить власть суверена, каким положениям права нужно ее подчинить, в каких границах должна функционировать его власть, чтобы она сохраняла свою законность. Теория права, по существу, играет начиная со средневековья роль подтверждения законности власти: главная, центральная проблема, вокруг которой организуется вся теория права, это проблема верховной власти. Сказать, что она является центральной проблемой права в западных обществах, значит признать, что дискурс и техника права в основном имели задачу уменьшить или замаскировать скрытый во власти факт господства и показать вместо него две вещи: с одной стороны, законные права суверена и, с другой стороны, узаконенную обязанность повиновения. Система права целиком подстроена под короля, то есть она в конечном счете скрывает факт господства и его следствия.

Когда я в предшествующие годы затрагивал различные предметы, то ставил перед собой в основном цель изменить привычный ход анализа, который начиная со средневековья присущ дискурсу о праве в целом. В противовес ему я пытался вскрыть одновременно тайный и все же явный факт господства, а затем, исходя из этого, показать не только то, как право оказывается вообще инструментом этого господства — это ясно само собой, — а то, как, до какой границы и в какой форме право (говоря о праве, я думаю не только о законе, но о совокупности структур, институтов, правил, в которых используется право) влечет за собой и приводит в действие отношения не суверенитета, а господства. И под господством я имею в виду не грубый факт безраздельного господства одного лица над другими или одной группы над другой, а многочисленные формы господства, могущие существовать внутри общества: значит, не господство короля, которое играло центральную роль в государстве, а господство, существующее во взаимных отношениях субъектов; не господство верховной власти в ее единственности, а существующие многочисленные формы подчинения, которые действуют внутри социального организма.

Система права и судебная власть являются постоянными носителями отношений господства, многообразных технических форм подчинения. Нужно видеть, что право, как я думаю, не столько устанавливает законность, сколько приводит в действие различные процедуры подчинения. Таким образом, для меня вопрос заключался в том, чтобы обойти,

избежать центральной для права проблемы верховной власти и повиновения ей индивидов и вместо нее выдвинуть проблему господства и подчинения. В этой связи требовались некоторые методологические предосторожности, чтобы обойти проторенный путь юридического анализа, свернуть с него.

Первое из упомянутых методологических правил состояло в том, чтобы не ограничиваться анализом упорядоченных и законных форм центральной власти, ее общих механизмов и совокупных последствий. Я хотел, напротив, рассматривать власть там, где она достигает своих границ, своих последних очертаний, там, где она становится капиллярной; то есть нужно рассматривать власть в ее региональных, локальных формах и институтах, особенно там, где власть, выходя за рамки организующих и ограничивающих ее положений права, функционирует по ту сторону права, воплощается в институтах, обретает форму благодаря разным техническим приемам и использует материальные, потенциально даже насильственные инструменты вмешательства. Один пример, если угодно; вместо того чтобы стремиться узнать, где и как верховная власть, ставшая объектом философского рассмотрения в монархическом или демократическом праве, получает возможность наказывать, я стремился показать, как фактически наказание, власть наказывать обретает форму в некотором числе локальных, региональных, материальных институтов, независимо от того, идет ли речь о казни или о заключении в тюрьму, все происходит одновременно в институциональном, физическом, регламентированном и насильственном мире фактических структур наказания. Иначе говоря, нужно было ухватить власть на краю ее все менее юридического функционирования; таково было первое правило. Второе правило состояло в том, чтобы проводить анализ власти не на уровне ее намерения или решения, рассматривать ее не с внутренней стороны, не задаваться вопросом (который я считаю тупиковым и безвыходным), кто обладает властью? Кто находится во главе? К чему стремится тот, кто имеет власть? Изучать власть нужно, напротив, там, где ее интенция — если она имеется — оказывается воплощена в реальных и действенных формах практики; изучать власть нужно, так сказать, с ее внешней стороны, там, где она находится в прямом и непосредственном отношении с тем, что предварительно можно обозначить как ее объект, мишень, ее область применения, иначе говоря, там, куда она внедряется и где осуществляет свое реальное воздействие. Таким образом, важно не то, почему некоторые хотят господствовать? К чему они стремятся? Какова их общая стратегия? Важно другое: каким образом все осуществляется в определенный момент на уровне процедур подчинения, или во время тех постоянных и непрерывных процессов, которые подчиняют тела, управляют жестами, определяют формы поведения. Другими словами, скорее, чем спрашивать себя о том, как суверен оказался наверху, нужно стараться узнать, как мало-помалу, постепенно, реально, материально конституируются субъекты, субъект из множества тел, сил, энергий, материй, желаний, мыслей и т. п. Понять материальную инстанцию подчинения в качестве силы, конституирующей субъекты, это, если хотите, прямая противоположность того, что Гоббс хотел осуществить в Левиафане¹, и, я думаю, этого хотят все юристы, когда ставят перед собой вопрос о том, как, отправляясь от множества индивидов и воля, можно сформировать единую волю и единый организм. Вспомните схему Левиафана²: согласно ей Левиафан, этот сфабрикованный человек, является только коагуляцией некоторого числа отдельных индивидуальностей, которые оказываются объединенными с помощью определенного числа конститутивных элементов государства. Но в центре или, скорее, во главе государства существует конституирующее

его нечто, это верховная власть, о которой Гоббс говорит, что она составляет душу Левиафана. Итак, прежде чем ставить проблему центральной души, нужно бы, я думаю, попытаться — что я пытался сделать — изучить многочисленные периферические тела, которые под воздействием власти конституировались как субъекты. Третье методологическое правило: не надо рассматривать власть как феномен сплошного и однородного господства — господства одного индивида над другими, одной группы над другими, одного класса над другими; нужно осознавать, что власть, если только ее не рассматривать сверху и издалека, не разделяется между теми, кто ее имеет и ею исключительно обладает, и теми, кто ее не имеет и ей подчиняется. Я думаю, что власть должна анализироваться как то, что находится в движении, или, скорее, как то, что функционирует только в форме сети. Она никогда не локализуется здесь или там, она никогда не находится в руках некоторых, она никогда не присваивается как богатство или благо. Власть функционирует. Власть существует как сеть, и в этой сети индивиды не только двигаются, они постоянно находятся в положении тех, кто испытывает на себе власть, и тех, кто ее практикует. Они никогда не являются инертной мишенью власти или согласными с ней, они всегда являются ее посредником. Иначе говоря, власть переносится индивидами, она не накладывается на них.

Не нужно, я думаю, видеть в индивиде своего рода элементарную частицу, простейший атом, многообразную и инертную материю, к которым власть применяется, на которые воздействует, подчиняя себе индивидов или ломая их. На деле одно из первых следствий применения власти заключается в том, что она ведет к конституированию и идентификации индивидов из тел, жестов, речей, желаний. То есть индивид не является визави власти; он, как я думаю, один из первых ее результатов. Индивид есть результат власти, и в то же время, в той же мере, в какой он является ее результатом, он является и ее посредником: власть переносится с помощью индивида, которого она создала.

Четвертое положение из числа методологических предосторожностей основывается на убеждении, что мой тезис «власть осуществляется, циркулирует, имеет форму сети», может быть, верен лишь до некоторой степени. Можно также сказать: «у нас у всех имеется внутри фашизм» и еще глобальнее: «мы все заключаем в своем теле власть». И власть — по крайней мере в какой-то части — переносится или передвигается с помощью нашего тела. Действительно, все это можно сказать; но я не думаю, что исходя из этого можно сделать такое заключение насчет власти, будто она, если хотите, хорошо разделена, представляет самую разделенную вещь в мире: она является таковой только до определенной степени. Это не похоже на демократическое или анархическое распределение власти между людьми. Я хочу сказать следующее: мне кажется, что, главное, — и таково было бы четвертое методологическое правило — не нужно применять своего рода дедукцию в отношении власти и рассматривать ее как движение из центра вплоть до ее распространения вниз, стараясь увидеть, в какой мере она воспроизводится, продолжается вплоть до самых атомистических элементов общества. Я думаю, что, напротив, надлежало бы — нужно следовать этой методологической предосторожности — проделать восходящий анализ власти, то есть исходя из бесконечно малых организмов, которые имеют свою историю, свой путь, свои собственные технику и тактику, увидеть затем, как эти механизмы власти, имеющие свою прочность и, в некотором роде, свою собственную технологию, при помощи все более общих механизмов и форм глобального господства были и еще теперь

оказываются окруженными, колонизованными, использованными, согнутыми, трансформированными, перемещенными, увеличенными и т. д. Не глобальное господство разделяется на множество направлений и отражается вплоть до низов. Я думаю, что нужно анализировать способ, каким образом на самых низких уровнях действуют феномены, техника, процедуры власти; нужно показать, как эти процедуры перемещаются, увеличиваются, модифицируются, но особенно, как они блокируются, аннексируются глобальными феноменами и как самые высокие власти или экономические интересы могут включаться в игру властных технологий, одновременно относительно автономных и бесконечно малых.

Чтобы это было более ясно, рассмотрим пример отношения общества к безумию. Можно было бы сказать, и это был бы нисходящий анализ, которому, я думаю, не следует доверять: буржуазия стала начиная с конца XVI века и в XVII веке господствующим классом. Как можно вывести из этого практику интернирования психически больных? Дедукцию всегда можно осуществить, она всегда легка и именно в этом я ее упрекаю. Действительно, легко можно показать, что, поскольку психически больной бесполезен для индустриального производства, считается нужным от него освободиться. Если хотите, можно бы было сделать то же самое не в отношении психически больного, а в отношении детской сексуальности — это уже сделали некоторые, в какой-то степени Вильгельм Райх,³ несомненно Раймут Райх,⁴ — и спросить: как можно понять репрессии в отношении детской сексуальности, отправляясь от факта буржуазного господства? Все просто, человеческое тело стало по сути дела начиная с XVII века производительной силой, в XVIII веке все формы расходов, бесполезные для производства, негодные для становления производительных сил, все формы расходов, продемонстрировавшие таким образом бесполезность, были изгнаны, исключены, пресечены. Такие дедукции всегда возможны; они одновременно истинны и ложны. По существу, они слишком легки и всегда можно вывести противоположное заключение, а именно исходя из принципа классового господства буржуазии сделать вывод, что контроль над сексуальностью, и в частности над детской сексуальностью, стал абсолютно нежелательным; напротив, обнаружилась потребность в сексуальном обучении, в сексуальной дрессировке, в ранней сексуальности, поскольку все же с помощью сексуальности восстанавливается рабочая сила, а как мы знаем, по крайней мере в начале XIX века, господствовало мнение, согласно которому рабочая сила должна увеличиваться до бесконечности: чем больше бы имелось рабочей силы, тем более полно и правильно могла бы функционировать система капиталистического производства.

Я думаю, что многое можно вывести из общего феномена классового господства буржуазии, но мне кажется, что делать нужно другое, а именно уяснить, как исторически, начиная снизу, могли действовать механизмы контроля с целью исключения безумия, подавления, запрета сексуальности; каким потребностям соответствовали на уровне семьи, непосредственного окружения, маленькой ячейки или на самых низовых уровнях общества феномены репрессии и исключения, в которых использовались определенные инструменты и просматривалась определенная логика, показать, кто тут действовал, и искать его не в лице буржуазии вообще, а в лице реальных агентов, какими могли быть ближайшее окружение, семья, родители, врачи, полиция на самом низшем уровне и т. д.; показать также, как эти механизмы власти в определенный момент в конкретной ситуации, несколько трансформируясь, становились экономически выгодными и политически

полезными. И я думаю, можно легко доказать — именно это я хотел сделать раньше, — что глубокая потребность буржуазии и интерес системы в конечном счете заключаются не в изгнании безумных или в наблюдении за детской мастурбацией и в запрете ее, для буржуазной системы, повторю, могло быть выгодно как раз обратное; зато она пробуждает интерес не к факту изгнания, а к технике и к самой процедуре изгнания, что и является областью фактического действия системы. Именно механизмы изгнания, аппарат наблюдения, способы воздействия на сексуальность, безумие, преступность, все это, то есть микромеханика власти, для буржуазии представляло интерес, именно этим буржуазия интересовалась начиная с определенного момента. Нужно еще сказать следующее: поскольку понятия «буржуазия» и «интерес буржуазии» не имеют реального содержания, по крайней мере для поставленных здесь проблем, необходимо признать, что на деле не существовало буржуазии, которая думала бы, что безумные должны быть изгнаны или что детская сексуальность должна быть подавлена, но механизмы изгнания безумных, механизмы наблюдения за детской сексуальностью начиная с некоторого момента и в силу некоторых причин, которые еще нуждаются в изучении, обеспечили определенную экономическую выгоду, обнаружили определенную политическую пользу и сразу оказались полностью колонизованы и поддержаны глобальными механизмами и в конечном счете всей государственной системой. И именно зацепившись за них, исходя из этой техники власти и раскрывая ее экономическую выгоду и связанную с ней политическую пользу в определенном контексте и в силу определенных причин можно понять, каким образом на деле эти механизмы становятся частью целого. Иначе говоря, буржуазия абсолютно равнодушна к душевнобольным, но начиная с XIX века и благодаря, как уже сказано, некоторым трансформациям процедуры их изгнания выявили, обнаружили, политическую пользу, потенциально даже некоторую экономическую выгоду, что укрепило систему и позволило ей в целом функционировать. Буржуазия интересуется не душевнобольными, а направленной на них властью; буржуазия интересуется не сексуальностью ребенка, а контролирующей ее системой власти. Буржуазия в целом не интересуется преступниками, их наказанием и их реадaptацией, которые с экономической точки зрения не имеют большого интереса. Зато совокупность механизмов, с помощью которых преступник контролируется, преследуется, наказывается, исправляется, имеет для буржуазии интерес в рамках общей экономико-политической системы. Такова четвертая предосторожность, четвертое методологическое правило, которое я хотел соблюсти.

Пятое правило: очень возможно, что глобальные механизмы власти сопровождаются идеологическим производством. Существуют, например, идеология воспитания, идеология монархической власти, идеология парламентской демократии и т. д. Но я не думаю, что внизу или на границах действия власти формируется идеология. Все обстоит и намного проще, и, я думаю, намного сложнее. Скорее, там формируются эффективные инструменты образования и накопления знания, методы наблюдения, техника регистрации, процедуры расследования и поиска, аппараты проверки, то есть действие глубинных механизмов власти не может обойтись без создания, организации и использования знания или, скорее, аппаратов знания, которые не являются ее идеологическим сопровождением или идеологическим построением. В качестве резюме изложения этих пяти методологических правил я скажу следующее: вместо того чтобы направлять исследование власти на юридическое строение верховной власти, на государственные аппараты, на сопровождающие их идеологии, надо ориентировать анализ власти на ситуацию господства

(а не суверенитета), на материальные механизмы господства, на формы подчинения, на связи и формы использования локальных систем этого подчинения и, наконец, на системы знания.

В целом нужно освободиться от модели Левиафана, модели искусственного человека, робота, в равной мере созданного из разных частей и унитарного, который включает в себя всех реальных индивидов и в котором граждане олицетворяют тело, а верховная власть воплощает душу. Нужно изучать власть вне модели Левиафана, вне области, ограниченной юридической суверенностью и институтом государства; речь идет об анализе, исходящем из техники и тактики господства. Вот то методологическое направление, какому, я думаю, нужно следовать и какому я пытался следовать в тех разнообразных изысканиях, которые мы проводили в предшествующие годы в отношении власти в области психиатрии, в отношении детской сексуальности, системы наказания и т. д.

Итак, в результате описания сферы власти и рассмотрения необходимых при ее исследовании методологических принципов, стал, я думаю, просматриваться крупный исторический факт, который должен нас, наконец, ввести немного в проблему, о которой я хотел начать говорить. Факт заключается в следующем: юридическо-политическая теория суверенитета, от которой нужно освободиться ради успешного анализа власти, ведет начало от средневековья; она означает возрождение римского права; она конституировалась в связи с идеями монархии и монарха. И я думаю, что исторически теория суверенитета — большая ловушка, в которую можно попасть при анализе власти, — выполняла четыре роли.

Во-первых, она соотносилась с существующим механизмом власти феодальной монархии. Во-вторых, она использовалась как инструмент в процессе создания великих административных монархий и была формой их обоснования. Затем начиная с XVI века, уже в момент религиозных войн, теория суверенитета служила оружием как для одного лагеря, так и для другого, ее использовали с разными целями, например для ограничения или, напротив, для укрепления королевской власти. Ее можно встретить у католических монархистов или у протестантских антимонархистов; у протестантских монархистов и у людей более или менее либеральных; можно встретить ее также у католиков — сторонников цареубийства или изменения династии. Теорию суверенитета используют аристократы и парламентарии, представители королевской власти и последние феодалы. Короче, она была важным инструментом политической и теоретической борьбы по вопросам власти в XVI и XVII веках. Наконец, в XVIII веке все та же самая теория суверенитета, выстроенная на основе римского права, встречается у Руссо и его современников, но уже в другой, четвертой, роли: речь теперь идет о конструировании — в противовес авторитарным или абсолютным административным монархиям альтернативной модели парламентской демократии. И именно эту роль она также выполняет в момент революции. Если проследить названные роли теории суверенитета, можно, мне кажется, заметить, что пока существовало общество феодального типа проблемы, подлежащие рассмотрению с ее помощью, касались фактически общей механики власти, способа ее функционирования как на самых высоких, так и на самых низких уровнях. Иначе говоря, влияние верховной власти, понималось ли оно широко или узко, в итоге охватывало всю целостность социального организма. И фактически способ функционирования власти мог быть описан, во всяком

случае в основном, в рамках отношений между сувереном и лицом зависимым.

Однако в XVII и XVIII веках происходит важное изменение, а именно, появляется — нужно бы сказать изобретается — новая механика власти с особыми процедурами, с новыми инструментами, с абсолютно иным и совершенно, я думаю, несовместимым с отношениями суверенитета устройством. В условиях новой власти регистрируются не столько земли и их ресурсы, сколько люди и их действия. Она соотносится скорее с людьми, временем и трудом, чем с благами и богатством. Этот тип власти осуществляется путем непрерывного контроля, а не того контроля, который производился ранее в ходе сбора налогов и хронических долговых обязательств. Такой тип власти предполагает, скорее, плотную сеть материального принуждения, чем физическое существование суверена, и определяет новую экономическую политику власти, принцип которой состоит в том, чтобы заставить увеличиваться как силу подчиненных, так и силу, а также способность к действию тех, кому они подчиняются. Мне кажется, что такой тип власти в точности противостоит, пункт за пунктом, той механике власти, которую описывала и стремилась упорядочить теория суверенитета. Последняя связана с формой власти, которая гораздо более распространялась на землю и ее ресурсы, чем на людей и на их дела. Она имела отношение к перемещению и присвоению властью благ и богатства, а не времени и труда. Она позволяла перевести на юридический язык как возникающие время от времени, так и постоянные обязательства по уплате налогов, вместо того чтобы выработать формы непрерывного контроля; эта теория позволяла основать власть, центром и опорой которой является физическое существование суверена, а не непрерывные и постоянные системы наблюдения. Теория суверенитета позволяла, если хотите, основать абсолютную власть, требующую больших издержек, ей была чужда мысль о создании власти с минимумом издержек и максимумом эффективности. Итак, новый тип власти, который совсем нельзя описать с помощью понятий, заимствованных из теории суверенитета, составляет, я думаю, одно из великих изобретений буржуазного общества. Указанный тип власти был одним из главных инструментов утверждения индустриального капитализма и соответствующего ему типа общества. Это не власть суверена, она чужда форме суверенитета, это «дисциплинирующая» власть. Ее невозможно описать, обосновать в терминах теории суверенитета, она полностью отлична от нее и должна бы непосредственно вести к исчезновению развитой юридической теории суверенитета. Однако фактически последняя не только продолжала существовать, если хотите, как идеология права, но она использовалась при создании юридических кодексов, которые вырабатывались в Европе в XIX веке на основе наполеоновских кодексов.⁵ Почему теория суверенитета оказалась так устойчива в качестве идеологии и принципа при создании систем юридических кодексов?

Я думаю, это произошло в силу двух причин. С одной стороны, теория суверенитета в XVIII веке и еще в XIX была оружием критики, направленным против монархии и всех препятствий, которые могли противостоять развитию дисциплинированного общества. Но с другой стороны, эта теория и созданные на ее основе юридические кодексы позволяли наложить на дисциплинарные механизмы систему права и таким путем замаскировать их методы, сгладить в дисциплине черты господства и техники господства и, наконец, гарантировать каждому через суверенитет государства его собственные суверенные права. Иначе говоря, юридические системы, будь то теории или кодексы, позволили осуществить демократизацию суверенитета, утвердить государственное право, основанное на

коллективной суверенности в тот самый момент и в той мере, в какой возникали в обществе механизмы дисциплинарного принуждения, можно даже сказать, что их возникновение послужило причиной демократизации суверенитета. Более сжато можно бы сказать следующее: с тех пор как дисциплинарные принуждения стали одновременно использоваться в качестве механизмов господства и преподносятся в качестве эффективного употребления власти нужно было, чтобы в юридическом устройстве присутствовала в виде юридических кодексов заново возрожденная и завершенная теория суверенитета. Таким образом, в современных обществах, с XIX века и до наших дней, существуют, с одной стороны, законодательство, дискурс, система государственного права, основанная на принципе суверенитета общества и делегирования каждым его суверенной воли государству; с другой стороны — разветвленная сеть дисциплинарных принуждений, фактически обеспечивающая связь внутри общества. Но эта сеть ни в коем случае не может быть обоснована с помощью права, последнее, однако, является его необходимым сопровождением. Суверенное право и дисциплинарные механизмы — именно в этих двух областях, я думаю, функционирует власть. Но они столь гетерогенны, что никоим образом невозможно совместить их друг с другом. В современных обществах власть осуществляется во взаимодействии этих гетерогенных начал — государственного права и многообразной механики дисциплины, через это взаимодействие и исходя из него. Это не значит, что, с одной стороны, существует многословная и ясная система права, основанная на суверенитете, а с другой — темные и немые механизмы дисциплины, которые действуют в глубине общества, в тени, и составляют молчаливое подземелье большой механики власти. Фактически формы дисциплины имеют собственный дискурс. Они сами, в силу только что изложенных мною причин, являются творцами систем знания и многочисленных областей познания. Они чрезвычайно изобретательны в формировании системы учености и познаний, выступают носителями дискурса, но такого, который не может быть дискурсом права, юридическим дискурсом. Дискурс дисциплины чужд дискурсу закона; он чужд дискурсу порядка как результата суверенной воли. Формы дисциплины выступают, таким образом, носителями дискурса порядка, но не юридического порядка, исходящего из суверенитета, а дискурса естественного порядка, то есть нормы. Они определяют не кодекс закона, а кодекс нормализации, и обязательно связаны с теорией, но не права, а гуманитарных наук. Поэтому для многообразных форм дисциплины юриспруденцией служит знание, вырабатываемое в клиниках. В итоге отмечу, что в курсах последних лет я вовсе не хотел показать, каким образом в передовую систему точных наук потихоньку включается недостоверное, сложное, запутанное знание о человеческом поведении: не в силу прогресса рационального знания точных наук конституируются мало-помалу гуманитарные науки. Я думаю, что процесс, сделавший возможным дискурс гуманитарных наук, представляет собой рядоположение или, скорее, столкновение двух совершенно различных типов дискурса: с одной стороны, дискурса права, в центре которого находится идея суверенитета, и, с другой стороны, дискурса принудительной дисциплины. Что власть в наши дни осуществляется одновременно при посредстве права и техники дисциплины, что дискурсы, порожденные дисциплиной, вторгаются в область права, что способы нормализации все более и более колонизируют сферу закона — все это, я думаю, может объяснить глобальное функционирование того, что я бы назвал «обществом нормализации». Точнее, я хочу сказать следующее: нормализация, дисциплинарные нормализации все чаще спотыкаются о юридическую систему суверенитета; все более отчетливо проявляется их несовместимость друг с другом; все необходимое становится арбитражный дискурс, своего

рода власть и знание, которое представлялось бы нейтральным в силу его научной сакрализации. И именно распространение в обществе медицинских учреждений и медицинского знания свидетельствует некоторым образом о том, как, я не хочу сказать сочетаются, но как ограничивают друг друга или обмениваются, или постоянно сталкиваются дисциплинарная механика и правовой принцип. Развитие медицины, общая медиализация поведения, образов действий, дискурсов, желаний и т. д. происходят в области, где должны встретиться два гетерогенные пространства дисциплины и суверенитета.

Вот почему в борьбе против узурпации власти со стороны дисциплинарных механизмов, против подъема связанной с научным знанием власти мы в современных условиях располагаем одним, по-видимому прочным, средством, а именно, обращением или возвратом к праву, выстроенному на принципе суверенитета, основанному на этом старом принципе. В результате когда хочется что-то противопоставить разным формам дисциплины и всем связанным с ними последствиям знания и власти, то что конкретно делают? Что делают в жизни? Что делают профсоюз чиновников или другие подобные институты? Что они делают, если не обращаются именно к этому праву, этому славному, формальному буржуазному праву, каким в действительности является право суверенитета? Но я думаю, что это своего рода узкое место, что нельзя бесконечно поступать таким образом: вовсе не обращением к суверенитету в противовес дисциплине можно было бы ограничить действия дисциплинирующей власти.

Суверенитет и дисциплина — законодательство, право суверенности и дисциплинарные механизмы — фактически являются двумя безусловно определяющими частями общих механизмов власти в нашем обществе. По правде говоря, чтобы бороться против дисциплины или, скорее, против дисциплинарной власти, а также в поисках недисциплинарной власти следовало бы обращаться вовсе не к старому праву суверенитета; обращаться следовало бы к новому, так сказать антидисциплинарному праву, которое было бы в то же время свободно от принципа суверенитета.

И именно здесь мы приближаемся к понятию «репрессия», о котором я вам, может быть, расскажу в следующий раз, если только при этом не повторю вещи, уже сказанные, и не перейду тотчас к вопросам, касающимся войны. Если бы я имел желание и смелость, я бы рассказал вам о понятии «репрессия», которое, как я в самом деле думаю, в том смысле, в каком его обычно употребляют, имеет двойное неудобство, так как оно неявно соотносится с теорией суверенитета или теорией суверенных прав индивида и в тоже время использует психологическое знание, заимствованное у гуманитарных наук, то есть у дискурсов и практик, которые принадлежат к дисциплинарной области. Я думаю, что понятие «репрессия» является еще понятием юридически-дисциплинарным, какой бы критический смысл ему не придавали; и поэтому оно оказывается изначально заражено, испорчено, разложено в силу двойной, включенной в него юридической и дисциплинарной референции к суверенитету и к нормализации. Я вам расскажу о репрессии в ближайшее время, если не перейду к проблеме войны.